



Игорь Киселёв

Однажды в Борисово

«Автор»

2026

Киселёв И.

Однажды в Борисово / И. Киселёв — «Автор», 2026

Захватывающая история о чести, верности и борьбе со злом в старинном русском селе Борисово, где реальность переплетается с мистикой, а человеческие судьбы проверяются на прочность. В центре повествования — суконник Тимофей, который унаследовал процветающее дело отца. Его жизнь меняется, когда он сталкивается с коварным злом и встречает необычную ватагу городских ребят во главе с загадочным Хватом (Прохором). Особое место в романе занимает Несусвет — хранитель, способный видеть то, что скрыто от обычных глаз. Он становится последней надеждой семьи Тимофея в борьбе с тёмными силами, угрожающими их дому и близким. Его путь от отверженного до защитника показывает, как важно не терять веру в добро даже в самые тёмные времена. На фоне живописных пейзажей и старинных обычаев разворачивается история о силе духа и настоящей дружбе. Книга будет интересна любителям исторической прозы с элементами мистики, ценителям глубокого психологического повествования.

© Киселёв И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Однажды в Борисово

Глава

1

Фольклорно-мистический сеттинг.

В селе Борисово, у самой воды, стоял двор Тимофея Андреева сына. Было ему под сорок, и с тех пор как отец, Андрей Петров сын, на смертном одре передал ему хозяйство, Тимофей знал: дело держится не только на руках и смеалке, но и на месте. Ведь вода в реке Городенке была быстрой, чистой - будто промывала не только сукно, но и само ремесло, смывая с него всё лишнее.

Его двор был устроен крепко: изба, амбары, погреба — всё на своих местах, и даже мастерская стояла отдельно, чтобы запахи и сырость не шли в жильё. В доме всегда было место и для семьи, и для запасов, и для торговых записей. Братья его были старше, да только ума в делах не имели, оттого отец и оставил хозяйство Тимошке — знал, что сын не предаст ремесло.

И всё же, хоть Тимофей и был человеком твёрдым и хозяйственным, он не раз замечал, как по вечерам у воды будто ступается тень, а ветер шепчет что-то недоброе. В Борисове, где лес подходил почти к самым огородам, даже самое обычное дело могло стать частью чего-то большего.

Баня была протоплена в три жара. На полу лежала душистая солома, а поверх неё льняное полотно. Повитуха передела роженицу в чистую рубаху, дала выпить ей заговорённой воды и зажгла перед иконами свечу. - Сейчас голубка, сейчас, - приговаривала повивальная бабка расплетая косы Агафье. Девки помощницы аж взмокли, исподницы к телу прилипли. Прижались в углу, узлы на рубахах расплетают, отдуваются да на мужа роженицы поглядывают с хитринкой. А сами заговор шепчут, негромко, но старательно. - Бабушка Соломонида, пособи рабе Божией Агафьюшке дитя на свет родить, не мучиться, не страдать, легко младенца принять. Отверзи её, и как река течёт, не задерживается, так и дитя пусть выйдет без помехи. Аминь. Кольца и серьги Агафьи были сняты и аккуратно положены в кожаный мешочек стянутый шнурком. - Раскройся милая, - приговаривала повитуха аккуратно поглаживая живот Агафье, - не томись, дай свету дитя, не жмись, раскройся. Аль в грехе зачала? - Что ты, что ты! - подорвалась Агафья и со страхом глянула на стоящего поодаль мужа. Бабка искоса глянула на Тимофея: - Тимофей Андреевич, не грешил ли ты от Агафьюшки? - Как можно, - пробормотал Тимофей в косматую бороду. Он мельком глянул в сторону девок, шепчущих заговор и ему показалось что у них лошадиные уши, - как можно, - изумлённо повторил Тимофей и глянул на повитуху, но та спокойно сказала, — тогда отойди в сторонку, да за дверь ступай. Мы уж сами тут. Тимофей Андреев сын обошёл жену, которая лежала на льняном полотне, и двинулся к выходу. - Пошли кого в церковь, пусть священник отворит врата в царствие, - прохрипела ему в спину старая повитуха, - нам здесь легче "выйти" будет, да Агафьюшка?

Первым делом Тимофей отправил сына кухарки в церковь Святителя Николая Чудотворца, как и велела повитуха. Снабдил его большой корзиной с яствами и парой бутылок рейнского виноградного. Велел кланяться и открыть врата в царствие. И хоть беременность не первая, а почитай уже третья будет, но эта традиция помогала "тихим" родам. Батюшка будет журить за двоеверие, но потому и рейнское в корзине, а не перегон из ячменя. Тимофей Андреевич поправил на голове суконный колпак и обтёр пот со лба. А дворовые уже побежали и засуетились. Кухарка выглянув в окно крикнула кухонным девкам, - Дашка, Авдотья, живо в погреб!

Вода уж на плете! Катька, где скатерка, а?И стрельнув глазами в сторону хозяина угодливо промолвила:- Чаю, Тимофей Андреевич, не изволите ли испить? Пока до дела ...

Тимофей махнул на неё рукой, как бы указывая " не до чаю мне", и кухарка исчезла в тёмном проёме окна. В мастерской застучал молот — звонко, с протяжным металлическим отголоском. И даже псы, точно лишь теперь очнувшись, нехотя перебрехивались, вяло и беззлочно. Тут конюх Прохор подвёл коня, который лоснился на солнце, играя мускулами.— Толкун, — прошептал Тимофей, поглаживая морду коня.Конь, почуяв хозяина, слегка толкнул Тимофея головой.— Ну, полегче, — тихо приговаривал Тимофей, поглаживая Толкуна по шее.- Накормлен, напоен, - сказал Прохор,- не изволь тревожиться, Тимофей Андреевич!- Да знаю Прохор, знаю. Сегодня в ряды не поеду , - Тимофей вздохнул и тяжело глянул на Прохора,- давай Толкуна в стойло, а потом подходи в избу. Вот-вот Агафья разродится. Надо вместе быть.Прохор крикнул,- как скажешь .Я быстро.- И Молчану скажи: хватит баню топить,- добавил Тимофей. - А то дотопил до черта, что и войти страшно.- Сделаем,-сказал Прохор и повёл Толкуна в конюшню. Подвязав коня, Прохор зашёл в истопную, где на лавке дремал Молчан.- Молчан, хватит дрыхнуть, то есть топить,- нахмурился Прохор видя что Молчан спит, а топка почти остыла.

2

Прохор был братом Агафьи и в доме Тимофея Андреевича жил очень давно. Ещё пацанами они сдружились. И когда уже Тимофей Андреевич встал на ноги и получил возможность держать суконное дело, Прохор выполнял разного рода поручения Тимофея. А познакомились Прохор с Тимофеем при таких обстоятельствах. В ту пору Тимофей служил сидельцем в суконной лавке у своего дальнего родственника, Василия Петровича. Тот был суконником не из мелких: основная его лавка стояла в Коломне, в торговых рядах, где кипела настоящая купеческая жизнь, а в Борисове Василий Петрович держал небольшую торговую точку — скорее для местных заказов и приёма обозов, чем для большой торговли. И так у Тимофея хорошо получалось ладить с клиентами, что дядя со временем стал оставлять Тимошку одного вести дела, пока сам уезжал по крупным сделкам то в Коломну, то и вовсе в Москву.В тот день Тимофей сидел в лавке один. День тянулся тихо, и оттого, когда в дверях появился нарядный господин, сердце у Тимофея ёкнуло от предвкушения хорошей продажи.

— Хочу большую партию товара, — объявил гость без лишних поклонов, — да не за наличные, а под долговую бумагу.Так он поступал всегда, и Василий Петрович ему доверял, охотно соглашаясь на такую сделку. Клиент, мол, надёжный — в этом будто никто не сомневался. Тимофей, конечно, забеспокоился: дядято отсутствовал, а большую продажу так хотелось совершить. Он видел у Василия Петровича такие долговые расписки от других людей и знал, что дело это не самое частое, но обычное: приходили люди и под заёмную брали товар в долг. Только вот в отсутствие хозяина это было впервые.Тимофею хотелось проявить самостоятельность: дядя ведь обещал сделать его приказчиком, если и дальше торговля пойдёт так же ладно. Наскоро пробежав глазами писанное, он на радостях отпустил товар. Гость поклонился, сел в небольшую повозку с одной лошастью и уехал - и будто и не бывал тут вовсе. Когда пришёл дядя, Тимофей первым делом похвастался, что удачно расторговался, и предъявил расписку. Василий Петрович удивился, взял листок, вчитался — и вдруг осел на скамью, будто ноги его не держали.

— Обман, — сказал он, схватившись за сердце. — Ты читал это?

Тимофей побледнел, подскочил и, выхватив листок, прочёл:

«Заёмная кабала.

Се яз, Яромей Фёдоров сын Хрипунов, взял есмя у суконника у Василия Петрова сына Пронина товаров насто рублёв: сукна и полотна. А отдати те товары по цене в июлии месяце. А за рост дати три с полтиною рубли на год. А сто рублёв да три

с полтиною рубля роста отдать непременно, как всегда, не будя возможность для меня, как честного человека. Премного кланяюсь и челом бью, милостивец мой».

Тимофей протёр глаза и прочёл ещё раз. Потом опять протёр и опять прочёл.

— Нет, — бормотал он, — не может быть... Тут не было такого.

Он поднял глаза на дядю, и в них уже стояли слёзы:

— «Не будя возможность»?.. Что же это?

— Обман, — повторил Василий Петрович упавшим голосом. — Мы с тобой за эту бумагу ничего не получим. Сами отдали, сами и дураки. Поспешил ты, Тимошка.

— Ну как же так? Может, можно что-то сделать?.. — Тут ясно сказано: отдать деньги нет возможности. А ты ничего, возьми и отдай товар — ровно подарил. Ступай домой, — вздохнул дядя Василий, — сегодня уже торговать нет нужды.

— Так неужто ты не знаешь этого Яромёя? Он же сказал, что дружок тебе!

— Эх, Тимоша, — покачал головой дядя, — да таких дружков по нашим рядам довольно шатается. Лихие люди: только и гляди, чтоб не обчистили. Зря я тебя одного оставил... Ну кто ж знал, что они в этот час наведаются. — Я всё исправлю! — с жаром заговорил Тимофей. — Я верну...

— Иди, Тимофей, иди. Твой отец убыток вернёт.

Так и остался Тимофей и без дохода, и без доверия. А доверие всегда выше дохода было.

Дядя Василий решил не оглашать этот случай, чтобы не портить своего имени, но с отца Тимошки потребовал на эту сумму жеребца да семьдесят рублей деньгами. На том и разошлись. А Тимофей с той поры стал искать своего клетного татя — того самого Яромёя, что так ловко обвёл их вокруг пальца.

По многим слободкам ходил, и по "чёрным", и по "белым". В разные места захаживал, но ни кто не слышал про этого Яромёя Фёдоров сына Хрипунова, и вот, как-то осматривая очередную слободку в поиске татя он, притаившись, сел перекусить. Неподалеку от него резвилась ватага ребят. И вдруг, приглядевшись, он понял, что это не игра мальчишек, а самая настоящая драка. Жёсткая и хлесткая схватка двух банд.

3

Все они жили тут, на Болвановке. Знались лет с десяти, но по именам никогда не общались. Как сбились в шайку, сначала под Бзырей, а потом уже и под Хватом, так лет пять и носили свои прозвища: Шумилко шумный, Молчан тихий, Боян болтун, а Рыжко рыжий, и всё это придумал Бзыря, когда был главарём. Но Бзыря был свергнут Хватом в честной драке, а было это так. Пять лет назад Хват ещё откликался на имя Прохор и в одиннадцать лет был хилым мальчиком. Отец его сидел за разбой в «каменном мешке», и мать Прохора говорила, что отец уже не вернётся. — Живи, Проша, вот этим, — и мать звонко шлёпала его по лбу. — Не будет тебе отцовской помочи. Не повторяй отцовских дел. А то вон дружки его куда привели! Сидит теперь в пытошной, а мог бы с нами... Но Прошка уже не слушал — тихо сбегал во двор.

От отца ему достались раскосые глаза, смуглая кожа, да широкая кость, но постоять за себя силёнок пока не хватало.

На Слободке хилых не жаловали — их гоняли и дразнили. За раскосые глаза Прошку прозвали басурманом, а главный хулиган постоянно его колотил.

В один из таких дней его снова окружили: пятьдесят разношёрстных сорванцов да сам главарь, которого звали Бзыря. Встали в круг, и Бзыря схватил Прошку, начал его крутить. Прохор рвался убежать — да куда там.

Он быстро оказался на земле. Бзыря сел сверху и вдавил его лицом в землю. — Жри землю, басурман! — рывкнул он, давя ладонью на затылок. — Давай! Жри! Пока дружки Бзыри посмеивались, Прохор отдувался и сплёвывал горькую грязь. Он лежал на земле и чувствовал, как уходит последняя злость — остаётся только пустота. Победа Бзыри была отпразднована обычным смехом и хлопками, после чего шайка разбрелась, довольная собой. А Прохору от

этого становилось невыносимо горько: заступиться было некому, и он снова убегал на пустырь. Там, среди тишины и ветра, он плакал, пока не высохали слёзы. И в эти минуты он твёрдо понимал: никто его не защитит. Только он сам сможет однажды дать отпор. Успокоившись, Прохор твёрдо решил: больше никто не повалит его наземь. Он взялся ковать в себе силу — не игрой, а настоящим трудом, таким, что жилы гудят, а спина горит.

Каждое утро он шёл к делу, где сила нужна не для забавы, а чтобы выжить. Носил тяжести: мешки с зерном, вязанки дров, брёвна, которые приходилось ворочать, упираясь плечом, чтобы поставить на место. Рубил дрова так, будто каждый удар должен был стереть из памяти тот смех шайки: топор вгрызался в дерево, и Прохор чувствовал, как крепнет рука, как плечо запоминает движение. Тянул грузы — волокуши с брёвнами, тяжёлые сани, даже жернова ворочал, когда просили: пусть всё идёт в счёт, пусть каждая мышца станет щитом. Так он трудился каждый день, от Покрова до Петрова дня. Ни смёрзшаяся в груды земля, ни студёная белая пора не могли его остановить. В мороз он рубил дрова, пока рубаха не становилась мокрой от пота и тут же схватывалась ледяной коркой; в распутицу тянул волокушу, увязая в грязи по колено, но не останавливаясь. Он будто нарочно искал работу потяжелее, чтобы проверить себя: хватит ли духу, хватит ли сил. И с каждым днём в нём росло не только тело — росла уверенность. Он уже не думал: «Вдруг опять побьют». Он думал: «Пусть попробуют».

И вот, в преддверии лета, окрепший, возмужавший, с плечами, налитыми настоящей силой, Прохор снова повстречал шайку своих обидчиков. Теперь он смотрел на них не глазами мальчишки, который ищет, куда бы сбежать. Он стоял ровно, спокойно, и в этом спокойствии было обещание: теперь всё будет иначе. Он шёл на пустырь привычной дорогой, мимо иноземного кладбища в Заяузье. И вдруг прямо на тропу вылетела шайка Бзыри — шумная, горластая, точно стая галчат. — Гляньтека, басурман выискался! — гаркнул один. — Небось опять место для падения прикидывает! — захохотал второй. Прохор не дёрнулся, не отступил. Он просто стоял и смотрел. И от этого их смех стал как будто тише. — Накорми басурмана землёй! — крикнула шайка, смыкая кольцо вокруг Прошки. Бзыря шёл не спеша. На лице — та самая снисходительная ухмылка, которую Прохор столько раз видел перед побоями. — Ну, басурман, сейчас ты у меня землю грызть будешь, — протянул главарь, подходя вплотную. Их взгляды встретились. Озноб не отпускал, но вдруг Прохор заметил то, чего раньше не видел: Бзыря был ниже, его плечи казались узкими, а в дерзком взгляде уже дрожала неуверенность. И тут Прохор понял: страх был не в нём. Страх был в Бзыре. Эта мысль ударила сильнее любого удара — и принесла странную, твёрдую силу. — Бзыря, — тихо, но так, что все услышали, сказал Прохор, — уходи. Пока добром просят.

Но Бзыря, хоть и понял, что со временем что-то изменилось в этом «басурмане», уже не мог отойти. Его стая ждала от него зрелища, а он впервые был испуган и от напряжения вспотел. Он глянул на свою ватагу, криво усмехнулся и толкнул «басурмана» в грудь.

Пацаны весело заулюлюкали, подбадривая атамана. Но в следующий миг Бзыря отлетел в сторону, прямо к иноземному захоронению, и исчез в кустах. Оттуда доносились его жалобные стоны.

Прохор зло посмотрел на окруживших его шалапаев — те ещё не успели стереть с лиц ухмылки.

— Ктонибудь ещё желает? — процедил он и показал им здоровенный кулак.

Желающих не нашлось.

В полной тишине Прохор произнёс:

— Зовут меня Хват. Всем понятно?

Пацаны сбились в кучку и угрюмо закивали.

Прохор ещё дышал тяжело, злость и напряжение гудели в нём: он не думал, что расправа над Бзырём окажется такой быстрой. Но раз главарь валялся в кустах, разбираться приходилось с его подручными.

— Как меня зовут? — бросил он резко.

— Хват! — нестройно выкрикнули пацаны.

— Вот и держите это в голове, — уже ровно сказал он и зашагал прочь.

Лишь оказавшись дома, Прохор задумался: почему он вдруг назвался Хватом? Сам себе не мог ответить.

4

Жил Прошка в курной избе с матерью и младшей сестрицей. В доме из одной клетки стояли две лавки, стол, печь с топкой почёрному да длинный ларь с крышкой. На лавках спали Прошка с матерью, а на печи—сестра, двенадцати лет.

День начинали задолго до рассвета. К восходу солнца Прохор уже отодвинул задвижки на волоковых окнах, чтобы проветрить избу и выпустить остатки дыма. Наколот дров, подтопил печь. Принёс с колодца пару вёдер воды и подмёл пол. Печь уже прогрелась, и мать варила в чугушках ячменную кашу, а потом сдобряла её льняным маслом; рядом томился взвар из сушёной рябины да малины.

—Прошка, сынок,—сказала мать, входя в избу с улицы,—глянька, сарай наш совсем окосел. Брёвна разъехались, сруб повело. Сходи погляди: можно поправить, али так и останется всё косо стоять?

Утро выдалось серое, промозглое. Над слободой висел сырой туман, будто сама земля выдыхала холод после короткой летней ночи. Прохор, а для себя он всё ещё был Прохор, а «Хват» пока казался ему чужим и крикливым словом, ворочал тяжёлое бревно у покосившегося сарая. Мышцы ныли не от вчерашней драки — драка-то вышла как раз быстрая, без долгой возни, — а от привычки: с Покрова до Петрова дня он приучил себя к тяжести, и теперь даже обычное дело отзывалось в теле глухим, привычным напряжением. У плетня, топталась ватага. Только теперь в их топтании не было наглости. Они стояли, ссутулившись, пряча глаза, и будто боялись, что одно резкое слово — и Прохор снова глянет так, как вчера: холодно, без жалости, с силой, которую раньше на слободке никто за ним не знал. Прохор наконец выпрямился, упёр руки в бока, посмотрел на них тяжело:

—Ну? Чего надо? Не стойте, как овцы у бойни.

Шумилко дёрнулся было что-то ляпнуть, да только рот открыл и закрыл, будто слова застряли в горле. Молчан, как всегда, молчал, только пальцы теребили край рубахи. Рыжко переминался с ноги на ногу, косился на Бзырю, будто ждал от него знака. А Бзыря стоял чуть в стороне. Лицо у него было помятое, под глазом наливался тёмный синяк, шея в царапинах от кустов, куда он улетел после толчка. Он не прятал взгляд, но и не смотрел прямо — держал его где-то между землёй и лицом Прохора, будто боялся, что если глянет в глаза, то снова услышит этот спокойный, страшный голос: «Уйди по-хорошему». —Говори,—бросил Прохор, глядя прямо на Бзырю.—Ты тут главный был. Тебе и начинать.

Бзыря сглотнул. Видно было, как ему тяжело даётся каждое слово, будто он глотал не воздух, а битое стекло.

—Я... —он кашлянул, прокашлялся, и голос у него вышел хриплый. — Я не за тем пришёл, чтоб опять... ну, ты понял.

— Чтоб опять меня в землю тыкать?—жёстко уточнил Прохор.—Так я быстро напомним, чем это кончается. Бзыря поморщился, но кивнул:

—Да. И это... я не спору. Ты теперь... сильнее.

Он не сказал «ты теперь главный», и Прохор был этому почти рад: не хотелось, чтобы его власть измерялась только тем, что он кого-то повалил.

—Значит, так,—Прохор наклонился, подхватил конец бревна, кивнул ватаге.—Раз уж пришли, помогайте. Сарай не сам себя подпрёт. Пацаны переглянулись. Это была не насмешка —это было дело. Обычное, тяжёлое, нужное. И в этом деле не было места для старых игр.

Они навалились все вместе: Молчан держал, Рыжко подталкивал, Шумилко что-то бормотал себе под нос, будто от страха хотел заполнить тишину словами. Бзыря встал рядом с Прохором, плечом к плечу, и когда бревно наконец легло на место, тяжело выдохнул. — Спасибо, — коротко бросил Прохор. И тут же добавил, чтобы не вышло слишком мягко: — Без вас бы провозился до полудня.

Они неловко заулыбались, будто им дали что-то важное, но они ещё не знали, как это держать.

— А дальше что? — вдруг спросил Баян, почесав затылок. — Мы-то... мы привыкли вместе. Не по одному. Прохор посмотрел на него, потом на всех по очереди. И понял: они не хотят ни драться, ни издеваться. Они просто не знают, как теперь быть.

— Дальше, — медленно проговорил он, — дальше делаем так. На нашей стороне слабых не гоняем. Ни своих, ни чужих. Если кто-то лезет, толкается, дразнится — разбираемся, но без этой грязи, без «жри землю». Ясно? Молчан кивнул первым, коротко и твёрдо. Рыжко тоже. Шумилко хотел было что-то вставить, да прикусил язык.

— А если кто не слушает? — тихо спросил Бзыря. — Ну, не из наших. Чужаки, например.

— Тогда вместе, — отрезал Прохор. — Не один на пятерых, а все на всех. Так надёжнее. Бзыря хмыкнул, но в этом хмыке не было насмешки — скорее, облегчение:

— Это... это по-нашему.

И ещё, — добавил Прохор, и голос его стал совсем жёстким, будто рубил топором по сырому дереву. — Прозвища оставляем. Но теперь они не для того, чтоб обижать. Шумилко — значит, голоси когда надо. Молчан — значит, думает, прежде чем лезть. Ну Рыжко и так понятно, — улыбнулся Прохор, — а Баян всегда басней развлечёт. Ясно? — Ясно, — буркнул Бзыря, и впервые за утро в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.

— А ты... — Прохор запнулся, сам не зная, как закончить.

— Я понял, — быстро сказал Бзыря. — Больше не буду.

И в этом «не буду» было больше извинения, чем в любых «прости».

5

С тех пор, Прохор понял: он больше не тот мальчишка, которого давили лицом в землю. А они больше не та шайка, которая гоняла слабых. Теперь они были ватагой, которая держит сторону. Так и стали они порядок в слободе держать. И с того дня все звали Прохора Хватом — будто само дело дало ему это имя.

Болвановка была им и домом, и школой, и полем битвы. Пять лет Хват, Бзыря, Молчан, Баян и Рыжко держались плечом к плечу — ватага, которую на улицах знали по смеху и по кулакам.

По весне они гоняли голубей над крышами, летом ныряли с крутого берега в Москву-реку, а осенью, когда над слободой тянуло сыростью, сбивались в кучу у костра и делили последний кусок чёрного хлеба. Бзыря вечно затевал какую-нибудь проказу — то петуха нарядит в лоскут, то крикнет посреди торга так, что бабы визжат, а ватага хохочет до слёз. Хват тут же тянул его за ворот: «Тише, бесовой сын, опять стражника накличешь!» — но в глазах у него плясали те же озорные искры.

А когда беда приходила всерьёз, шутки слетали, как шелуха. Однажды Рыжко чуть не угодил под кнут приказного дьяка за то, что вступился за сироту, и вся ватага встала стеной: Шумилко шептал стражнику что-то про «ошибку да недоразумение», Баян тянул время, рассказывая длинную байку, Молчан незаметно уводил мальчишку прочь, а Прохор смотрел прямо в глаза дьяку — спокойно, без вызова, но так, что тот в конце концов махнул рукой: «Убирайтесь».

Они знали друг друга до последней черточки: кто первым струсит, кто полезет в драку без оглядки, у кого в груди стынет обида и не даёт спать. Если у одного дела шли худо, осталь-

ные скидывались последним медяком, делились кровом, прикрывали спину. И если на другом конце Болвановки поднимался крик — ватага срывалась с места, не спрашивая, кто прав, кто виноват: сперва помоги своему, потом разбирайся.

Так и жили: шумно, дерзко, крепко — пять лет подряд, будто сама улица их сковала в одно целое, и разорвать эту связь было не проще, чем разломить кованую цепь.

В один из дней ватага собралась у колодца. Спорили, куда нынче податься: на пристань ли, в гончарные ли дворы, а может, и вовсе к реке — просто посидеть на берегу да поглядеть, как вода бежит.

Спор понемногу затих, и они постояли ещё немного, слушая, как над слободой постепенно рассеивается туман, как где-то рядом кричит петух, как скрипит на ветру покосившаяся калитка.

— Пошли, — наконец сказал Хват, отряхивая руки. — Поглядим, что на рынке творится. Говорят, на Болвановской опять чужаки шастают. Пусть знают, что тут свои порядки. Ватага двинулась за ним. Не гурьбой, не с криками, а ровно, плечом к плечу. Даже Бзыря шёл не позади и не впереди, а рядом, будто примерялся к новому месту.

6

Рынок на Болвановке жил своим шумным, злым голосом: кричали торговцы, бранились из-за цены, где-то рядом визжал поросёнок, а над всем этим висел густой запах дёгтя, рыбы и горячего хлеба. Хват шёл впереди, не торопясь, но и не замедляясь: он знал, что ватага держится за ним, как верёвка за крепким узлом. Бзыря шёл рядом, чуть сбоку — не впереди, чтобы не спорить за место, и не сзади, чтобы не казаться прибитым. Остальные шли плотной кучкой: Молчан, Шумилко, Рыжко, Баян. Они не галдели, как раньше, и это само по себе уже было заметно: новая тишина ватаги звучала твёрже прежнего крика. А на краю рынка, у ряда с рогожами и мешками, стояли трое парней, которых здесь раньше не видавали. Ростом крупные, кафтаны поношенные, но крепкие, а в глазах — тот самый холодный блеск, какой бывает у тех, кто привык брать своё силой. Один из них, с кривой ухмылкой, тыкал пальцем в сторону старухи, торговавшей луком: — Эй, бабка, скидывай цену. А то товар твой живо по ветру разлетится.

Старуха съёжилась, прижала к груди корзину, будто она могла её защитить. Рядом топтался её внук лет десяти, сжимал кулаки, но что он мог сделать против троих взрослых парней? Хват остановился. Ватага замерла за его спиной.

— Это чья сторона? — громко спросил один из чужаков, оглядывая ватагу. — Ваши тут?

— Наши, — спокойно сказал Хват, глядя прямо в глаза говорившему. — И порядок тут наш. Чужак хмыкнул, будто услышал забавную шутку:

— Порядок? Да тут любой, кто посильнее, свой порядок ставит.

Бзыря шагнул было вперёд, но Хват чуть качнул головой — один незаметный жест, и Бзыря остановился. Не потому, что струсил, а потому что понял: сейчас нужно не кидаться, а стоять ровно. — Тут не силой ставят, — сказал Хват. — Тут держат. А если не удержишь, тебя сдует, как сухую листву.

Шумилко, обычно не умевший молчать, сейчас стоял тихо, только пальцы сжимались и разжимались, будто он хотел что-то сказать, но боялся испортить момент. Молчан смотрел внимательно, будто запоминал каждую мелочь: как стоят чужаки, где у них руки, куда смотрят глаза. Рыжко и Баян встали так, чтобы никто не смог обойти их с фланга. — Ты мне зубы не заговаривай, — процедил чужак и шагнул ближе. — Мы тут по делу. И дело наше простое: хотим, чтоб нам цену скидывали.

— А мы хотим, чтоб по-честному было, — ответил Хват. — Тут своих не обижают. Один из чужаков резко махнул рукой, будто хотел оттолкнуть Хвата, но тот не шелохнулся. И в этот миг ватага сдвинулась вперёд — не с криком, не с воем, а ровно, как стена, которую не сдвинешь. Даже Бзыря стоял твёрдо, и в его взгляде не было прежней насмешки, а была

холодная готовность: если начнётся, он будет драться. Чужаки переглянулись. Они привыкли, что мальчишки разбегаются, когда на них рывкнут. А эти не бежали. Они стояли.

— Ладно, — буркнул главный из чужаков. — Мы тут не за драку пришли.

— Вот и хорошо, — спокойно ответил Хват. — Тогда идите своей дорогой. А нашу сторону оставьте в покое. Чужаки ещё немного постояли, будто проверяя, не дрогнет ли кто, но ватага стояла как вкопанная. Потом главный сплюнул, махнул рукой своим, и они пошли прочь, оставляя за собой только запах дёгтя и неловкую тишину.

Когда они скрылись за углом, старуха выдохнула, будто только сейчас вспомнила, что нужно дышать:

— Спасибо вам, ребятушки... Спаси вас Господь. Хват только кивнул, не стал говорить ничего лишнего. А Бзыря подошёл к её внуку, положил ему руку на плечо:

— Держи спину прямо. Если опять придут, кричи. Мы услышим.

Внук кивнул, в глазах у него стояли слёзы, но это были слёзы не от страха, а от того, что впервые за долгое время он почувствовал: он не один. Ватага пошла дальше, и теперь в их шаг была не просто привычка держаться вместе, а настоящая уверенность: они не банда, которая гоняет слабых, а сила, которая держит сторону.

7

Солнце уже перевалило за полдень, и на чёрной слободе стало особенно душно: воздух стоял густой, пах гарью, конским навозом и кислым тестом из пекарни на углу. Ватага шла вдоль покосившихся заборов, не торопясь, но и не растягиваясь: Хват впереди, Бзыря рядом, остальные плотной кучкой. Они не искали драки — но знали, что если она придёт, то лучше встретить её лицом, а не спиной. А драка пришла сама.

На перекрёстке у старой кузницы, где даже в тихий день железо звенело, будто спорило с камнем, ватага наткнулась на другую шайку — не слободскую, не свою, парней постарше, в залатанных кафтанах, с тяжёлыми взглядами и привычкой смотреть на всех сверху вниз. Их главарь, плечистый парень с перебитым носом, стоял, расставив ноги, будто хотел занять собой весь проход. — А ну, посторонись, мелочь, — рывкнул он, не здороваясь. — Тут большие ходят.

Хват остановился. Не отступил ни на шаг, но и не полез вперёд грудью — просто встал ровно, будто врос в землю.

— Тут все ходят, — спокойно сказал он. — И большие, и малые.

Один из парней хохотнул:

— Слышь, какой смелый. Да мы вас сейчас по углам разгоним, как цыплят. Бзыря скрипнул зубами, пальцы сжались в кулаки, но он не рванулся вперёд. Он посмотрел на Хвата — и тот едва заметно сказал: не сейчас.

— Мы не за драку, — сказал Хват. — Мы за порядок. Тут своих не гоняют.

— Своих? — главарь хмыкнул, будто слово было ему противно. — Да вы тут никто. Мы с Замоскворечья пришли, будем тут свои правила ставить. И тут Молчан, который обычно молчал, вдруг тихо, но отчётливо произнёс:

— Не поставите.

Главарь глянул на него, будто только сейчас заметил, и лицо его исказилось насмешливой ухмылкой:

— Чего? Так может потолкаемся?,- спросил он хитро поглядывая на свою шайку,- на пустыре за кожевенной слободкой? Они захихикали.

Молчан не отвёл взгляда. Просто стоял и смотрел. И в этом молчании было больше силы, чем в любом крике. Шумилко, наоборот, вдруг заговорил — быстро, звонко, будто хотел прогнать тишину, чтобы никто не успел испугаться:

— Да легко! Схлестнёмся, как в последний раз. Давно руки чешутся прогнать это отребье с пустыря, — он оглянулся на Бзырю.

Бзыря зыркнул на Шумилко, потом перевёл взгляд на Хвата. В его взгляде читался вопрос: куда это его понесло?

А Хват не торопился. Он обвёл тяжёлым взглядом всю ватагу, будто примеряя, кто как встанет в драке, усмехнулся и спокойно сказал:

— А давай.

Пустырь за старой кожевной слободой был ничейной землёй: тут не пахали, не сеяли, только ветер гонял сухую пыль да валялись обломки досок и старые бочки. Сюда сходились, когда не хотели, чтоб приказные глядели. Сюда шли, чтобы решить дело силой. Ватага Хвата пришла первой. Они не кружили, не кричали, не дразнили воздух. Встали полукругом у поваленной ограды: Хват впереди, Бзыря рядом, Молчан чуть позади — он лучше всех видел, откуда может прийти удар. Рыжко и Баян держались ближе к краю, где кусты могли скрыть внезапный рывок. Шумилко стискивал кулаки и старался дышать ровно, хотя сердце колотилось где-то в горле. — Не беги вперёд, — тихо бросил ему Хват, не поворачивая головы. — Держи строй.

Шумилко кивнул, будто проглотил слово. А потом из-за полуразвалившейся стены кожевного двора вышли они — замоскворецкие буяны. Пятеро, а может, и шестеро: рослые, плечистые, в кафтанах, залатанных, но крепких. Их главарь, парень с перебитым носом и тяжёлым взглядом, шёл впереди, будто прокладывал дорогу. За ним тянулись остальные — кто с палкой, кто с обрезком цепи, кто просто с кулаками, привыкшими к делу. — Вот и вы, — процедил главарь, останавливаясь шагах в десяти. — Решили, что тут ваша сторона?

Хват не ответил сразу. Он смотрел не на главаря, а на всех сразу: кто где стоит, у кого в руке палка, кто переминается с ноги на ногу, выдавая нетерпение. Он знал: если заговорить раньше времени, можно выдать дрожь в голосе. А дрожь тут не прощают. — Наша, — наконец сказал он. — И мы её держим.

Главарь хмыкнул, будто услышал забавную шутку:

— Держите? Да вы тут никто, мы тут держать будем. Смекай, если голова не только для шапки.

Зубы Бзыри скрипнули от напряжения, но он не решился сделать шаг. Встретившись взглядом с Хватом, он будто искал разрешения — и Хват, не повышая голоса, коротко бросил: — Не сейчас.

— Мы до вас тут стояли, — спокойно сказал Хват. — И дальше стоять будем столько, сколько нужно. Один из замоскворецких, рыжий, с кривой ухмылкой, поднял палку и постучал ею по ладони:

— Ну, посмотрим, на сколько тебя хватит.

8

И тут началось. Рыжий рванулся первым — резко, зло, будто хотел одним рывком снести Хвата с места. Но Хват не отступил. Он шагнул навстречу, не назад, а вперёд — туда, где удар должен был прийти, и встретил его плечом, сбивая размах. Палка ушла в сторону, а Хват уже вцепился в рукав, рванул к себе и коротким ударом в бок заставил парня согнуться. С другого края на Рыжко налетели сразу двое. Он не успел даже крикнуть: один схватил за ворот, второй уже заносил кулак. Но Баян прыгнул сбоку, врезался плечом в нападавшего, повалил его на землю, и они покатались по пыли, хрипя и цепляясь друг за друга. Буяны пошли вперёд всей массой, как волна: тяжёлые шаги, крики, свист палок. Ватага Хвата не рассыпалась. Они держались кучно, плечом к плечу, прикрывая друг друга. Молчан, тихий и незаметный, вдруг оказался самым цепким: он вцепился в ногу одного из нападавших, повалил, и тот рухнул, подняв облако пыли. Бзыря дрался не как раньше — не с криком и насмешкой, а молча, сосредоточенно. Он поймал удар палкой на скрещённые руки, выбил её, крутанулся и толкнул противника в грудь так, что тот отлетел к старой бочке и сполз по ней, хватая ртом воздух.

Шумилко, которому не хватало силы, брал скоростью: он нырял под удары, толкал, цеплял за ноги, мешал, не давал развернуться. Он кричал теперь не от страха, а чтобы слышать свой голос среди чужого шума. Главарь замоскворецких, видя, что схватка идёт не так, как он рассчитывал, рванулся к Хвату. Он был тяжелее, сильнее, и в его ударе была вся злость от того, что мальчишки не бегут. Он замахнулся, целя в голову, но Хват ушёл в сторону, пропуская удар мимо, и тут же ударил снизу, в живот. Главарь захлебнулся воздухом, согнулся, и Хват не стал добивать. Он просто встал над ним, тяжело дыша, и крикнул:

— Хватит! Но его не услышали. Кто-то из замоскворецких всё ещё махал палкой, кто-то пытался встать и снова броситься. Тогда Бзыря, весь в пыли, с расцарапанной щекой, шагнул вперёд и гаркнул так, что даже ветер будто притих:

— Стоять! Мы не звери, чтоб друг друга до крови! И в этом крике было что-то такое, что заставило всех замереть. Кто-то выронил палку. Кто-то опёрся о колено, тяжело дыша. Кто-то сплюнул кровь.

Хват смотрел на главаря замоскворецких. Тот медленно выпрямился, держась за бок, и в его взгляде уже не было прежней наглости — только усталость и злость, которая больше не искала выхода.

— Ты... — прохрипел он. — Ты за кого тут стоишь?

— Я не за это, — сказал Хват. — Я за то, чтоб тут своих не гоняли.

Молчан подошёл, встал рядом, положил руку Хвату на плечо — не для поддержки, а как знак: мы здесь. Рыжко, весь в ссадинах, прихрамывая, встал с другой стороны. Баян, тяжело дыша, поднял с земли обломок доски и швырнул его прочь. Шумилко прислонился к забору, будто ноги его больше не держали, но улыбался криво, по-боевому. Бзыря не отводил взгляда от главаря:

— Если хотите ходить тут — ходите. Но без палок. Без «жри землю». Без того, чтоб слабых давить.

Главарь поморщился, будто каждое слово кололо, но кивнул:

— Ладно. Сегодня... сегодня вы сильнее.

- Сегодня и всегда, — спокойно сказал Хват. — Потому что мы держим сторону.

Замоскворецкие не стали спорить. Они выбрали своих, помогли встать тем, кто не мог подняться сам, и пошли прочь, оставляя за собой только пыль и тишину, которая теперь была другой — не пустой, а тяжёлой от того, что только что случилось. Когда они скрылись за поворотом, ватага Хвата ещё немного постояла, слушая, как стучит кровь в висках и как постепенно возвращается обычный шум слободы: где-то крикнула ворона, скрипнула телега, пролаяла собака.

— Живы? — хрипло спросил Хват, оглядывая своих.

— Живы, — выдохнул Бзыря. — И... и это было... правильно.

Молчан кивнул. Рыжко усмехнулся, потрогав распухшую губу:

— А я думал, меня сразу снесёт.

— Снести могут, — сказал Хват. — Но не тогда, когда стоишь вместе. Они пошли прочь с пустыря, не торопясь, потому что ноги были тяжёлыми, а в теле гудела каждая мышца. И именно тогда, на повороте, Хват заметил Тимофея: тот сидел у плетня, сжав в руке краюху хлеба, и смотрел на них широко раскрытыми глазами — не с насмешкой, не с испугом, а с тем самым чувством, которое бывает, когда видишь, что сила может быть не только злой. Хват остановился, вытер рукавом кровь с разбитой губы, посмотрел на Тимофея и спокойно спросил:

— Чего тут? Ты чей будешь?

Тимофей сглотнул, будто слова застряли в горле, но всё же ответил:

— Суконника сын... Тимофей. Живу в селе Борисово. А тут... заплутал. Хват кивнул, будто эти слова ему о чём-то сказали. Он не стал смеяться над «заплутал», не стал подначивать.

Вместо этого он присел на корточки рядом с Тимофеем, не слишком близко, чтобы не напугать, но так, чтобы Тимофей видел: перед ним не враг.

— В Борисово, значит, — медленно проговорил Хват. — Это далеко отсюда. Тут у нас свои дороги, кривые, как змеи. Легко сбиться.

9

Тимофей сжал пальцы на краюхе хлеба, будто хотел её сломать, но сдержался.

— Я не за тем пришёл, чтоб плутать, — глухо сказал он. — Человека ищу. Обманул он нас. Долг не отдаёт. И тут Хват всё понял. Не по словам, а по тому, как Тимофей их говорил: не с жаром, не с гневом, а с той самой глухой болью, которую Хват когда-то чувствовал сам, когда лежал лицом в земле, а над ним смеялись.

— Обманул, значит, — тихо повторил Хват. — А ты один. Тимофей вскинул глаза, будто хотел сказать «нет, не один», но не смог. Потому что он и правда был один.

— Один, — наконец признал он. — Дядя мой... он не велел мне без него дела вести. А я... я хотел показать, что могу.

Хват помолчал, потом протянул руку:

— Меня Хват зовут. А это мои. Тимофей пожал руку, и в этом рукопожатии было что-то большее, чем просто знакомство. Это было признание: ты не один.

- Тимофей, — хрипло сказал он.

— Так вот, Тимофей, — спокойно продолжил Хват. — Если ты правду говоришь, мы поможем. Тут у нас про обманщиков знают. И не любят. Бзыря, стоявший чуть позади, хмыкнул, но не насмешливо, а как будто соглашаясь:

— Да, тут таких быстро вычисляют.

Молчан кивнул, будто подтверждал: да, поможем. Шумилко хотел было что-то ляпнуть, но прикусил язык — сейчас не время для болтовни.

- Зачем вам? — тихо спросил Тимофей, будто боялся поверить. — Вы меня не знаете.

Хват посмотрел ему прямо в глаза:

— Потому что я знаю, каково это — стоять одному, когда все кругом сильнее. И знаю, каково это, когда никто не верит. Если мы не поможем, кто тогда? Тимофей опустил голову, потом снова поднял, и в его глазах появилась искра, которую ещё минуту назад там не было:

— Спасибо.

— Не благодари, — отрезал Хват, вставая. — Лучше скажи, что знаешь про этого обманщика. Где искать, кто с ним водится. Мы тут каждый угол знаем. Тимофей достал из кармана кабалу, развернул её дрожащими пальцами. Хват взял бумагу, пробежал глазами по строчкам, нахмурился.

— «Не будя возможность», — тихо прочитал он. — Хитро. Очень хитро.

Бзыря заглянул через плечо, присвистнул:

— Ага. Это чтоб потом сказать: «Я ж сразу предупредил, что не отдам».

- Точно, — кивнул Хват, возвращая бумагу Тимофею. — Но мы его найдём. Тут у нас подьячие всё знают. Если он с нашей слободы, найдём. Пошли.

Тимофей встал, сунул кабалу обратно в карман, и впервые за весь день ему показалось, что земля под ногами стала твёрже. Ватага шла рядом с ним, не впереди и не позади, а плечом к плечу. И Тимофей вдруг понял: он больше не один. И это было самое главное.

10

Приказная изба стояла на краю площади, будто нарочно отвёрнутая от людской суеты: низкая, приземистая, с маленькими окошками, затянутыми бычьим пузырём. Из трубы тянулся сизый дым, пахло гарью, сажей и чем-то кислым — будто сама бумага здесь пропитывалась сыростью и временем. Ватага подошла не гурьбой, а осторожно, будто боялась, что этот дом, тяжёлый и молчаливый, сейчас рывкнет на них, как строгий дядька. Даже Шумилко притих, только шмыгал носом да косился на дверь, будто ждал, что оттуда выскочит подьячий и начнёт

их гонять. Хват толкнул тяжёлую дверь, и она отозвалась протяжным скрипом, будто не любила пускать внутрь мальчишек. В избе было темно и тесно: вдоль стен тянулись лавки, заваленные связками бумаг, перетянутых бечёвкой; на столе громоздились стопки столбцов, а над ними, склонившись над листом, сидел подьячий — тощий, с жёлтым лицом, в засаленном кафтане. Перед ним стояла плошка с сальным огарком: пламя трепетало, отбрасывая дрожащие тени на стены, а по краю плошки налипла чёрная копоть. Пахло здесь не улицей, не пылью и не железом, а воском, чернилами и старой бумагой — запах был сухой, терпкий, будто сам воздух тут состоял из слов, написанных и забытых.

Подьячий поднял глаза, и взгляд у него был такой, будто он уже устал от всех людей на свете: - Чего надо? Не мешайте. У меня срочный столб по кабалам.

Хват шагнул вперёд, стараясь держаться спокойно, хотя под рубахой всё ещё ныли мышцы после драки, а на костяшках пальцев запеклась кровь.

— Мы по делу, батюшка, — сказал он, не повышая голоса. — Про одного человека узнать хотим. Ярмей его звать. Подьячий фыркнул, будто услышал что-то смешное, и снова уткнулся в бумагу:

— Тут про каждого второго Ярмею столб есть. И про каждого третьего — кабала. Что ещё?

Тимофей, стоявший позади Хвата, сделал робкий шаг вперёд и протянул мятую кабалу: - Вот... он нам долг не отдаёт. Тут написано...

Подьячий взял бумагу, поднёс к свету, прищурился, и кончик его пера скрипнул по краю листа, будто хотел стереть написанное. На бумаге тут же расплылось тёмное пятнышко — чернильная клякса, похожая на каплю крови. - "Не будя возможность», — медленно, по слогам, прочитал подьячий. — Хитрец. Каков хитрец. Это чтоб в нужный момент сказать: "совесть моя чиста, я тут сбоку припёка».

Он постучал сухим пальцем по бумаге, и звук вышел сухой, трескучий, будто ломалась старая ветка. - И что? Таких тут десятки. Кто-то отдаёт, кто-то прячется, кто-то в бега подался. Мне что, за каждым бегать?

Бзыря, который до этого стоял, опустив голову и стараясь не глядеть на всю эту бумагу, вдруг поднял глаза:

— А ты не бегай. Ты скажи, где искать. Мы сами найдём. Подьячий прищурился, будто только сейчас по-настоящему их разглядел: ватага, чумаза, в сбитых лаптях, с ссадинами и царапинами, но стоят ровно, не разбегаются, не тараторят, не просят по-пустому. - Сами, значит, — протянул он. — Ну-ну. А если он с лихими людьми водится? Если у него за спиной целая шайка?

— Тогда тем более надо знать, — спокойно сказал Хват. — Чтоб не наткнуться в темноте. Подьячий хмыкнул, положил перо, и оно оставило на бумаге ещё одну кляксу — маленькую, чёрную, будто точку в конце разговора. Он потянулся к связке столбцов, перебрал их сухими пальцами, шурша бумагой, будто ворошил сухие листья. - Был у меня тут один столб... по кабалам с Болвановской стороны. Там про Ярмею Федорова сына писали, что он у кузнеца на откупе живёт, да не платит. А кузнец грозит его приказным сдать.

Он вытащил один лист, развернул его, и столб пошёл вниз длинной узкой лентой: строчки бежали одна за другой, теснясь, будто боялись не поместиться. Подьячий провёл пальцем по строчкам, останавливаясь на именах, и бумага тихо шуршала под его ногтем. - Вот. Тут сказано: «у кузнеца Фрола, на Болвановской стороне, держит Ярмей Федоров сын, Хрипунов угол, да не платит за хлеб и за угол». И ещё тут приписка: «просил отсрочки, обещал отдать после торга, да не отдал».

Тимофей подался вперёд, будто хотел схватить бумагу, но вовремя сдержался:

— Это... это он! Точно он! Подьячий посмотрел на него, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на сочувствие — совсем чуть-чуть, как тень, которая пролетает и исчезает.

— Ну, раз он, — сухо сказал подьячий, — то идите к кузнецу. Он лучше всех знает, где его искать. Да только... — он снова прищурился, глядя на ватагу, — вы там поосторожнее. Тут не дракой берут, тут бумагой берут. А бумага крепче кулака бывает.

Хват кивнул, не споря: - Спасибо, батюшка. Мы поосторожнее.

Подьячий снова уткнулся в свой столб, будто мальчишки уже перестали для него существовать, и снова закрипело перо, выводя ровные, мелкие буквы, которые тут же темнели на бумаге, как следы, которые нельзя стереть. Когда ватага вышла на улицу, воздух показался им неожиданно свежим и чистым, будто изба выдыхала только пыль и чернила. Солнце стояло уже низко, косые лучи золотили крыши, и даже пыль на дороге казалась не серой, а золотистой.

Тимофей глубоко вдохнул, будто впервые за день смог нормально дышать:

— Теперь мы знаем, где его искать...

11

Хват посмотрел на него и чуть улыбнулся — совсем немного, только уголками губ:

— Да. Теперь знаем. А дальше — по делу.

Бзыря хмыкнул, потёр плечо, которое ныло после удара палкой, и сказал:

— Бумага бумагой, а кузнец — он человек простой. С ним нужно по-хорошему. Лучше по-хорошему. Молчан молча кивнул, будто подтверждал: да, по-хорошему лучше.

Рыжко поправил рукав, на котором темнело пятно от пыли и крови, и вдруг хихикнул:

— А я думал, тут нас сразу выгонят. А он даже помог. Шумилко, который наконец-то снова мог говорить, выпалил:

— Да тут столько бумаги, что можно всю слободу завернуть! И ещё останется!

Баян только фыркнул и толкнул его в бок:

— Тише ты. Тут стены слышат.

Они пошли по улице, и теперь их шаг был не просто уверенным — он был собранным, как будто они знали, куда идут и зачем. И Тимофей шёл вместе с ними, не позади, не впереди, а рядом, и в этом было самое главное: он больше не был один.

Солнце уже село, и чёрная слобода потихоньку затихала. Где-то хлопали ставни, где-то хозяйка гнала со двора гусей, а над крышами плыл сизый дым — тяжёлый, пахучий, будто сам воздух собирался на ночь отдохнуть. Ватага шла не спеша, потому что ноги гудели, а плечи ныли так, будто каждый шаг отдавался во всём теле. Хват остановился на перекрёстке, где дорога делилась на три узкие тропки, и махнул рукой: - Завтра. К кузнецу Фролу завтра. Сейчас уже поздно: он либо в кузнице догорает, либо за столом сидит, и лучше его не тревожить. Да и нам надо дух перевести. Бзыря хмыкнул, потёр плечо, на котором темнело пятно от удара палкой:

— И то правда. Сегодня мы столько слов и кулаков потратили, что на неделю хватит. Молчан молча кивнул, будто этим коротким движением сказал всё, что нужно. Рыжко зевнул так, что чуть челюсть не вывихнул. Баян толкнул его в бок:

— Дома зевай. А тут ещё до порога дойти надо. Шумилко хотел было что-то ляпнуть, да только махнул рукой и пошёл прочь, прихрамывая: день и правда был длинный. Ребята разошлись по своим дворам, кто к матери, кто к дядьке, кто просто в тёплый угол, где его знали и не прогоняли. А Тимофей остался стоять, будто ноги вдруг перестали его держать. Он смотрел, как ватага тает в сумерках, и чувствовал, как на плечи снова ложится та самая тяжесть, с которой он пришёл в слободу: одиночество. Хват заметил это. Он остановился, обернулся, посмотрел на Тимофея внимательно, без спешки:

— Тебе есть где ночевать? Куда пойдешь? В темноте тебя по дороге кто хочешь обидит.

Тимофей сжал кулаки, будто хотел доказать, что он не слабый:

— Я... я не маленький. Найду где до утра время скоротать. - Зачем что-то искать, — спокойно сказал Хват. — Если негде остановиться, не беда. Пойдём у меня за ночуешь. У меня мать добрая, да и место найдётся. Тимофей хотел было отказаться, сказать, что не хочет быть

в тягость, но слова застряли в горле: слишком уж день был тяжёлый, чтобы ещё и гордость держать. - Спасибо,—тихо сказал он.—Если можно...

Хват только плечами повёл:

— Можно. Тут чужих не бывает. Бывают свои и те, кто скоро станет своим. - Он потянулся. - Только есть одно "но". Тимофей внимательно посмотрел: - Говори..

- Дома, при матери и сестрёнке, не называй меня Хват. Это я на улице Хват, а дома меня зовут Прохор. Дома - Прохор, на улице - Хват,- повторил он.- Понял,- сказал Тимофей и протянул ему руку. - Будем знакомы.

Избушка у Хвата была маленькая, приземистая, будто вросла в землю и не хотела с ней расставаться. Над дверью висел пучок сухой полыни — от лихого глаза, а порог был стёрт до блеска: столько ног через него прошло. Прохор толкнул дверь, и она привычно скрипнула, будто ворчала на поздних гостей. Внутри было тепло и пахло хлебом, печной золой и сушёными травами. Над лавкой висели связки лука и чеснока, на стене — холщовый мешок и старый кафтан. У печи сидела мать, склонившись над деревянной миской, и месила тесто: руки у неё были тяжёлые, привычные к работе, а лицо — усталое, будто каждый день тянул его вниз. Рядом на лавке, поджав ноги, сидела сестрица Прохора, Агафья. Мать подняла глаза, увидела сына, потом Тимофея, и лицо её сразу стало мягче, будто солнце выглянуло из-за тучи. - А, Прошенька... — тихо сказала она. — Ну, слава Богу.

Прохор шагнул вперёд, чуть наклонив голову:

— Мам, это Тимофей. Суконника сын. Он тут... заплутал немного. Можно, он у нас переночует? Мать Прохора не стала ни расспрашивать, ни вздыхать, ни качать головой. Она просто кивнула, встала, поправила платок и подошла к Тимофею. В её взгляде не было ни упрёка, ни сочувствия — лишь тихая доброта, от которой на душе становилось и горько, и светло разом. - Ну, идите, мойте руки и за стол, — сказала она. — С дороги-то небось голодные да усталые. Сейчас я вам щей налью, да краюшку отрежу. А там и спать ляжете. У нас тут тихо, никто не обидит. Тимофей стоял, не зная, куда деть руки, и только кивал, будто боялся, что если заговорит, то голос сорвётся.

— Спасибо вам, матушка, — наконец выдавил он. - Не благодари, — спокойно сказала она. — Благодарность сытости не прибавит. Лучше ешьте, пока горячее.

12

Она налила им в одну миску густых щей — с капустой, морковью и куском солонины, который плавал сверху янтарным пятном. Рядом положила чёрного хлеба, ещё тёплого, с хрустящей корочкой. Тимофей взял ложку, и пальцы у него чуть дрожали — то ли от голода, то ли от того, что впервые за день кто-то о нём просто позаботился. Они ели медленно, стараясь не спешить, но всё равно не могли остановиться: щи были простые, но такие вкусные, будто в них была вся доброта этого дома. Мать Прохора сидела рядом, подливая в плошку горячего, если остывало, подкладывала хлеб, но не смотрела прямо, чтобы не смущать. А в другом углу, на лавке, сидела маленькая сестрёнка Прошки. Она глядела на Тимофея во все глаза, но не приставала, не задавала вопросов. Только тихонько теребила край рубахи и время от времени шептала брату:

— Прошка, а он завтра с нами будет?

Прошка улыбался краешком губ:

— Будет, Агафья. Не бойся. Когда миска опустела, она вздохнула тихо, будто сама наелась, и сказала:

— Ну вот. Теперь можно и отдохнуть. Прохор показал Тимофею угол у печи: там стоял длинный ларь, прикрытый старым, но чистым покрывалом.

— Тут тепло, — сказал он. — Печь до утра греет. Тимофей сел на край, потрогал покрывало, будто не верил, что всё это правда, и вдруг почувствовал, как усталость наваливается на него всей тяжестью дня: драки, приказная изба, поиски, страх и надежда — всё смешалось

и теперь просто хотелось улечься и заснуть. - Спокойной ночи, сынки, — тихо сказала мать Прохора, задувая лучину. Огонь дрогнул, зашипел и погас, оставив после себя запах дыма и тёплый полумрак. — Пусть ничего не приснится плохого.

— Пусть, — прошептали Тимофей и Прохор, уже проваливаясь в сон.

Тимофей лежал, уставившись в темноту, и всё никак не мог поверить, что больше не нужно никуда бежать. Здесь не кричали, не толкали, не требовали ответа, от которого зависела судьба. Здесь просто накормили, дали место у тёплой печи и сказали «спокойной ночи» — так, как говорят своим. От этой простой заботы на глаза наворачивались слёзы, но он крепко зажмурился, чтобы не дать им пролиться. Не потому что стыдно, а потому что слишком много всего разом навалилось, и если сейчас заплачешь — уже не остановишься.

Тимофей закрыл глаза, чувствуя, как тепло от печи медленно разливается по телу, прогоняя холод, что вёлся в кости за эти дни. И впервые за долгое время ему показалось, что впереди может быть не только опасность и бегство, а что-то ещё — обычное, простое, но такое нужное: утро, чашка горячих щей и друг, который не уйдёт.

Ночь опустилась на избу тихо, будто боялась спугнуть эту редкую минуту покоя. В темноте слышалось только ровное дыхание Агафьи — она уснула первой, свернувшись клубочком на печи, да изредка потрескивали остывающие кирпичи печи, отдавая последнее тепло.

13

Тимофей проснулся от того, что в избушке стало светлее. Не сразу, не резко — будто кто-то осторожно наливает в темноту жидкий, бледный свет. Он лежал, не шевелясь, и слушал: печь тихо постанывала, остывая, где-то под полом шуршала мышь, а за тонкой стеной уже начинал просыпаться город — сначала робко, одним петушиным криком, потом ещё одним, уже увереннее. Он приподнялся на локте и увидел её: мать Прохора стояла в тёмном углу, перед потемневшей иконой. Лик едва угадывался в полумраке — только белели глаза и тонкий изгиб нимба, будто тонкая линия зари. Она не шептала слов — Тимофей не слышал ни «Отче наш», ни «Богородице Дево», ни привычных молитв, какие иногда бормотали старухи на селе Борисово. Она просто крестилась — медленно, тяжело, будто каждое движение давалось ей не легко, а через усилие. И смотрела на икону так, словно пыталась разглядеть в темноте чьё-то знакомое лицо. Тимофей замер, боясь пошевелиться, будто любое движение могло спугнуть эту тишину. Он вдруг понял, что видит то, что не показывают чужим: не силу, не строгость, не хозяйскую хватку, а самую её суть — женщину, которая каждый день собирает себя заново, чтобы дом не развалился. Она снова перекрестилась, опустила руку, провела ладонью по лицу, будто стирая с него что-то тяжёлое, и тихо, одними губами, будто боялась, что слова станут громче, чем нужно, прошептала:

— Господи... сохрани. И Тимофей понял, что она молится не о себе. Она молится за Прошку — за то, чтобы он не пошёл по отцовской дороге. Чтобы не стал тем, кто ищет правду кулаками и кончается в каменном мешке. Чтобы остался здесь, в тепле, рядом с сестрой, с матерью, с этим домом, который держится на её плечах. Потом она опустила голову, постояла ещё немного, будто ждала ответа, которого не было слышно, и только тогда повернулась к избе. Увидела, что Тимофей не спит, но не смутилась, не стала прятать глаза. Просто чуть кивнула, будто признала: да, ты это видел, и пусть будет так. - Вставай потихоньку, — тихо сказала она, подходя к печи. — Не шуми. Агаша ещё спит.

Тимофей сел, подтянул к себе рубаху, неловко накиннул её на плечи.

— Простите, матушка... я не хотел подглядывать. Она махнула рукой — не сердито, а устало, как машут, когда и так всё понятно.

— Не за что тут прощать. Молитва — она не тайна. Просто её не кричат. Она принялась разгребать угли в печи, и те вспыхнули крошечными огоньками, будто звёзды, упавшие в поддувало. Потянуло жаром, и вместе с ним — запахом золы, печного дыма, старой глины. Мать Прохора подбросила щепок, те зашипели, затрещали, и пламя потянулось вверх, облизывая

стенки топки. В этот момент из-под покрывала высунулась взлохмаченная голова Агафьи. Она зевнула, потёрла глаза, увидела Тимофея и сразу просияла:

— А, ты уже не спишь! А я думала, ты ушёл.

— Тише, Агаша, — строго, но без злости сказала мать. — Дай людям дух перевести.

Агафья тут же притихла, только смотрела во все глаза, будто боялась, что если моргнёт, Тимофей исчезнет. Из дальнего угла донеслось шевеление — Прохор приподнялся, сел, провёл ладонью по лицу, стряхивая остатки сна. Он посмотрел на мать, потом на Тимофея, и в его взгляде мелькнуло понимание: он сразу увидел, что они не просто так сидят в тишине, что тут было что-то важное, что нельзя топтать ногами и засыпать словами. — Мам, — тихо сказал он. — Я сейчас... я помогу.

Мать только кивнула.

Прохор встал, потянулся, поморщился — то ли от боли в мышцах, то ли от утренней скованности. Подошёл к Тимофею, сел рядом, взял кусок хлеба, отломил половину и протянул ему: — Держи. Тут у нас так: если ешь — то вместе.

Тимофей взял хлеб, и в этом жесте вдруг стало ясно: он больше не чужой. Он не гость, которого терпят до рассвета, а тот, кто теперь тоже должен есть вместе со всеми, потому что теперь он — часть этого дома, хоть и ненадолго. За окном уже совсем рассвело. Небо было бледно-серым, с розовой полоской на востоке, и воздух, тянувший в приоткрытую дверь, был свежим, прохладным, пах мокрой травой и дымом из чужих изб.

Мать Прохора поставила на стол миску с простоквашей, положила рядом пучок зелёного лука, только что сорванного с грядки. — Ешьте, — сказала она. — День будет длинный.

Прохор посмотрел на неё, и Тимофей вдруг увидел в нём не того Хвата, который стоял на пустыре и не отступал перед буянами, а просто сына, который боится сделать что-то не так и подвести её. — Мы осторожно, мам, — тихо сказал Прохор. — К кузнецу Фролу сходим, разузнаем про Яромея. Без глупостей.

Она подняла на него глаза, и в них было столько всего сразу — и страх, и гордость, и усталость, и надежда, что даже слова не нужны.

— Только без глупостей, — повторила она. — Правда она тихо ходит.

Прохор кивнул.

Они поели быстро, молча, будто боялись, что если заговорят, то спугнут это хрупкое утро. Агафья всё время косилась на Тимофея и улыбалась, будто он был каким-то чудом, которое вдруг оказалось у них в избе. Когда миски опустели, мать Прохора собрала их, поставила в корытце, потом подошла к Прохору, встала перед ним, взяла его лицо в свои ладони — грубые, натруженные, с вьвшейся золой и запахом хлеба — и тихо, так, будто слова давались с трудом, сказала:

— Смотри мне, Прошенька. Держи сторону, но не становись стороной, которую все боятся. Прохор прикрыл её руки своими, на секунду задержал, потом отпустил.

— Я помню, мам, — сказал он.

Они вышли из избы, когда солнце уже поднялось над крышами и позолотило солому на крышах. Воздух был свежий, умытый, и даже пыль на дороге казалась не серой, а золотистой. Тимофей шёл рядом с Прохором, и впервые за много дней ему не хотелось оглядываться через плечо. Ему не казалось, что за каждым углом прячется обманщик или враг. Потому что теперь за его спиной был не только кулак, но и тихий угол в избе, где женщина молится перед тёмной иконой, и просит только одного: чтобы её сын остался живым и честным.

Дорога была знакомая, вытоптанная до твёрдой, почти каменной гладкости. Тимофей поглядывал по сторонам, будто заново видел привычные вещи — скрипучую калитку у крайней избы, воробьёв, дерущихся за крошки у порога, тонкую струйку дыма, поднимающуюся прямо в голубое небо. Всё казалось теперь не чужим, не враждебным, а своим, будто он наконец-то вернулся туда, где ему место.

— Тут у нас тихо по утрам, — негромко сказал Прохор, будто оправдывая эту простоту. — Пока все по делам разбредутся, можно подумать, да и просто подышать.

Тимофей кивнул, вдыхая полной грудью: пахло печным дымом, свежей соломой и мокрой землёй после ночной росы.

14

Кузница Фрола стояла на краю слободы, будто нарочно отодвинутая от жилых изб: чтобы жар не перекинулся на крыши, чтобы грохот не мешал спать младенцам, а дым стелился над пустырём и растворялся в воздухе. Когда Прохор и Тимофей подошли ближе, их сразу ударило в лицо жаром — таким плотным, будто воздух тут был не воздухом, а горячей водой. Из распахнутых ворот валил густой, сизый дым, пахло раскалённым железом, гарью, углём и ещё чем-то едким, металлическим — будто сама земля здесь была прокопчённой насквозь. Внутри, в полумраке, где свет был только от горна и от вспышек ударов, Фрол работал. Он стоял у наковальни, огромный, плечистый, в прожжённом кожаном фартуке, с закатанными рукавами; мышцы на руках ходили под кожей, как верёвки. В руке он держал молот, и каждый удар по раскалённой заготовке отдавался в груди — БАМ! — и рассыпался искрами, будто кто-то швырнул в темноту горсть золотых звёзд. Потом — звон, короткий и резкий, когда металл остывал, и снова — БАМ! — тяжёлый, увесистый, будто сам мир подтверждал: да, тут куют не игрушки. Меха скрипели ритмично, как тяжёлое дыхание зверя: ш-ш-ш... ш-ш-ш... — и каждый раз, когда они раздувались, пламя в горне взвивалось, облизывало железо, делало его мягким, послушным. Прохор остановился у порога, не решаясь шагнуть внутрь: жар был такой, что даже на расстоянии казалось, будто кожа начинает стягиваться. Тимофей встал рядом, прижимая ладонь к щеке — казалось, даже ветер, который дул сюда с поля, был тёплым, как выдох печи. Фрол не сразу их заметил. Он вытащил клещами из огня кусок железа — тот светился тускло-оранжевым, будто угли в остывающих углях. Кузнец положил его на наковальню, коротко глянул на заготовку, будто спрашивал у неё, какой она хочет быть, и снова ударил — БАМ! И только после этого он поднял глаза. Увидел мальчишек. Взгляд у него был тяжёлый, как молот: не злой, не добрый, а такой, будто он привык мерить людей не словами, а весом. - Чего надо? — спросил он, не опуская молота. Голос у него был хриплый, прокуренный, будто годами глотал кузнечный дым. — Не стойте в дверях. Либо заходите, либо уходите. Тут не постоянный двор. Прохор шагнул вперёд, но не глубоко — ровно настолько, чтобы не казаться трусом, но и не лезть под горячую руку. - Здрав будь, дядя Фрол, — сказал он, стараясь говорить ровно, без мальчишеской дрожи. — Мы по делу. Про Яромея спросить хотели. Фрол хмыкнул — звук вышел сухой, как треск угля. Он положил молот на край наковальни; тот лёг тяжело, будто вздохнул. Потом взял клещи, поворошил угли в горне — они вспыхнули, зашипели, и на секунду лицо кузнеца осветилось оранжевым, стало страшным, как у духа огня. - Яромея... — повторил Фрол, будто пробовал имя на вкус, и оно ему не понравилось. — А вам-то он на что?

Тимофей хотел было шагнуть вперёд, объяснить, но Прохор подал едва уловимый знак — не заметно, но достаточно, чтобы Тимофей понял: сейчас говорит он. - Он долг не отдаёт, — спокойно сказал Прохор. — Нам бы знать, где его искать.

Фрол прищурился, посмотрел на Тимофея, потом снова на Прошку. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на усмешку, но он её не выпустил наружу — сдержал, как сдерживают удар, чтобы не сломать наковальню. - Долг, значит... — протянул он. — Тут каждый второй кому-то должен. А каждый первый — мне. Так что мне до ваших долгов? - Мы не просить пришли, — тихо сказал Прохор. — Мы узнать. И сами разберёмся.

Фрол фыркнул, будто это было самое смешное, что он слышал за утро.

— Сами, значит. Ну-ну. А если он с лихими людьми водится? Если у него за спиной целая шайка? Вы тоже «сами» будете разбираться? Прохор не опустил глаз.

— Будем. Но лучше знать заранее.

Кузнец помолчал. Посмотрел на раскалённое железо, будто ждал, пока оно остынет настолько, чтобы можно было его трогать. Потом снова поднял глаза на мальчишек — и в этом взгляде вдруг стало меньше тяжести, будто он увидел в них не просто уличных пацанов, а тех, кто готов отвечать за свои слова. - Ладно, — наконец сказал он, тяжело вздохнув. — Про Яромея я знаю. Он тут у меня угол снимал, дрова колот, угли таскал. Думал, расплатится работой. Да только работа у него такая: сегодня есть, завтра нет. А долг растёт. Тимофей не выдержал, шагнул чуть вперёд:

— Так где он теперь?

Фрол посмотрел на него, будто только сейчас по-настоящему разглядел: худой, бледный, в поношенной одежде, но в глазах — не страх, а упрямая надежда. - Где... — повторил кузнец. — Да кто ж его знает. Вчера тут был, сегодня — нет. Может, к друзьям подался. Может, прячется. А может, уже и из слободы ушёл. Тут таких много: придут, пожужжат, как осы, да и улетят.

Прохор нахмурился: - Но ты же должен знать хоть что-то. Хоть куда он чаще ходил. Хоть имя кого-то из дружков.

Фрол снова хмыкнул, но теперь в этом звуке было уже не столько насмешки, сколько усталости. - Знаю, — нехотя признался он. — Есть у него один приятель, Ванька Кривой. Тот вечно у кабака на углу околачивается. Если Яромей где и объявится, так это там. Да только не ходите туда одни. Там не шутки шутят.

Тимофей сжал кулаки, будто хотел этим движением прогнать разочарование:

— Спасибо, дядя Фрол. Хоть это...

Кузнец махнул рукой — не сердито, а устало, как машут, когда понимают, что слова всё равно не удержат мальчишек от глупостей. - Не благодарите. Лучше запомните: железо куют, пока горячее. А правду ищут, пока следы не остыли. Но и голову на плечах держать надо. Он снова взялся за клещи, вытащил из горна заготовку — она уже не светилась ярко, а стала тёмно-красной, почти чёрной. Положил на наковальню и ударил молотом — БАМ! Искры брызнули в стороны, как злые светлячки, и тут же погасли в полумраке кузницы. Прохор кивнул, будто принял этот удар как последнее слово, повернулся и пошёл к выходу. Тимофей шёл за ним, и каждый шаг отдавался в ушах этим тяжёлым, железным БАМ! — будто кузница провожала их, напоминая, что мир здесь твёрдый, горячий и не прощает ошибок. На улице воздух показался прохладным, почти холодным, и пах не железом, а пылью, травой и далёким дымом. Прохор остановился, глубоко вдохнул, будто хотел смыть с себя жар кузницы, и посмотрел на Тимофея. - Слыхал? К кабаку не пойдём. Не наше это место. Но Ваньку Кривого найти можно. Он по слободе ходит, как собака по двору. Кто-нибудь да видел.

Тимофей кивнул, хотя в груди всё ещё дрожало от напряжения.

— Да. Найдём. Они пошли по улице, и шаги их теперь звучали твёрже, не потому что они стали сильнее, а потому что у них снова была цель. И пусть она была не такой простой, как хотелось бы, и пусть впереди ждали новые разговоры, новые взгляды, новые угрозы — теперь они знали, куда идти.

15

Слободу к полудню уже раскаляло солнце. Тени от изб лежали узкие, будто прижатые к земле, а воздух дрожал над крышами, как тонкая струна. Прохор и Тимофей шли не торопясь: шаг у них был собранный, будто они сами себе напоминали — не беги, не злись, слушай. Первым делом они свернули к рыбному ряду. Там, у разошедшейся бочки, стоял торговец с красными от жара и ветра руками, раскладывал

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.